

ПРОЧИТАН
РАССКАЗ

ХОД ВРЕМЕНИ

Виктор Астафьев. «Вимба». «Юность», № 7, 1985.

НЕДАВНО в одной из рецензий мне попала такая фраза: дескать, рецензируемая вещь так хороша, что ему, критику, писать о ней приятно и легко.

Ну, не знаю... Рассказ Виктора Астафьева «Вимба» я перечитал несколько раз подряд с тем же чувством, с каким перечитываешь записки в душу поэтические строки, находя все новые и новые глубины и ощущая желание тут же поделиться радостью своего открытия с друзьями.

В «Вимбе» шесть журнальных страничек, меньше печатного листа, а впечатление такое, будто двадцать лет жизни спрессовались... да нет, не спрессовались, а вместились в эти странички, и не только жизни действующих или упоминаемых в рассказе людей, но и твоей собственной, и вообще всего и вся — просто двадцать лет жизни, а может быть, и больше. И вот именно не спрессовались, а вольно, широко легли — в рассказе много «воздуха», света, цвета, он весь какой-то свободный, неторопливый, вольный, и в то же время он очень плотный, насыщенный, там нет ни одного лишнего, незначащего эпизода, фразы, слова — все работает, все значимо, полно глубокого смысла, хотя на первый взгляд этот рассказ о давней рыбалке незатейлив и прост, как правда: автор вспоминает, как двадцать лет назад приезжал в Юрмалу, в Дом творчества писателей, и там

его отыскал друг-латыш, Гарий, не то поэт, не то художник, а в общем, большой баламут, на Ноздрева смахивающий, и потащил ловить с шофером Володей и докторшей Ренитой рыбу вимбу, которая «ест очень хитрая, умная, и только он, Гарий, знает, где и как ее ловить, да еще маленько Волёта — лишь они могут достать рыбки, от которой волосы на голове встают «в дыбки», — и, как и следовало ожидать, почти ничего не поймал.

«— Ничего нет. Вимба прошла. Мы опоздали, — уныло извещил Гарий и, заметив моих рыбок в кочках, сунулся туда носом. — Вечно везет этим Иван-дурак! — потрясенно прошептал он. — Ты же поймал девять вимб! — И заорал на всю округу: — Волёта! Ренита! Товарищчи рыбаки! Он поймал девять вимб! Девять, говорю! Но он не понимает своего счастья...»

— Ты прости меня, пошлуста, — еложив рыб в садок и поспуноившись, попросил Гарий непривычно смиренным голосом. — Я говорил «Иван-дурак» не о тебе конкретно, а вообще об Иван-дураке...»

Порассуждав немного таким образом о дружбе народов, Га-

рий сказал, что журнал под таким названием есть, но его, Гария, там не печатали и печатать не будут. По этой именно причине перешел он из поэзии в живопись, пишет маслом родные просторы, реки и озера, тучные колхозные поля, наловчился подражать импрессионистам — и картины его охотно покупаются, он имеет «нопейка на хлеб и на молоко — дураки не перевелись, на мою творческую жизнь их вполне хватит».

Потрясенный чужой добычей, Гарий тем не менее не проникся тихой черной завистью, а наоборот, обрадовался, «что вот его родная земля Латвия не подвела, оправдала надежды, одарила гостя и добычей, и красотой, да и полез за пазуху, вынул оттуда конверт с иностранными штампами, марками, почтовыми знаками.

«— Чьто? Я являюсь знаменитый филателист. Меня вся Латвия знает, может, еще дальше!..»

Опять вполне ноздревский поворот, но что-то уже не позволяет отождествлять Гария с гоголевским персонажем. А что? Да вот эта независтливость, уме-

ние искренне радоститься за друга, а еще гордость за свою родину, такую красивую и обильную, и такую свою, что вот пришедший письмо из Австралии брат мечтает быть похороненным здесь...

А австралийские крючки он не дал потому, что не верил в рыбацкие способности литераторов: «один знаменитый поэт поймал себя за губу, и пока довезли его до района — поэт едва не помер и все ругал заморские крючки, которые во все впадают с буржуазной алчностью, беспощадной, деловой хваткой имеют советского человека и что есть это не иначе, как идеологическая диверсия...»

Однако теперь, когда он, Гарий, убедился в моей рыбацкой смелости, уверился, что мне можно доверить даже буржуазные крючки и я на них не попадусь ни в прямом, ни в переносном смысле, он их мне сам привяжет и садок под рыбу отдаст, Рените даже отдал бы — таким братским чувством он мне проникся, но боится за меня — докторша нравом круче вимбы, и пока что один лишь Гарий может ее подсекасть, заводить в тиховодье и, вытаскивая на берег, укрощать».

Что он и сделал, прокомментировав потом происшедшее стихами Николая Глазкова: «Все неизвестности любви нам неизвестны до поры. Ее кусали муравьи, меня кусали комары!..»

Тут может возникнуть такой вопрос: а не переборщил ли В. Астафьев, не слишком ли откровенен его рассказ — мало ли что бывает на таких рыбалках!.. Да и зачем, например, писать о том, как «мои отборные, в Сибири почерпнутые ругатель-

ства Гарий посчитал ворчанием»? Или как в магазине на знаменитую заграничную Гариеву блесну «шэншына» «са садница поймалась»?.

Да затем, что без этих подробностей рассказ был бы пресным и неправдоподобным. Может, где в книгах и есть рыбки, которые говорят: «Увы!» — когда у них срывается с крючка крупная вимба, а в жизни я таких что-то не встречал. А рассказ Астафьева дышит расхожей жизнью, раздумьями о ней, органично входящими в художественную ткань повествования и неотделимыми от нее:

«...С рождения своего пуще всего на свете боящийся змей, я опасался угря. Вдруг выплзет из воды, гад? И хотя Гарий уверял меня, что угорь — тварь безвредная, некусучая и появляется здесь позднее, в теплую пору, все же тосливо озирался на всякий всплеск и шорох, зорно вглядывался в проплывающие предметы: черт его знает, этого угря, — в нашем веке все, что прежде не кусалось, может укунуть, кто даже лап и копыт не имел — лягается, беззастыжлив — ругаются либо доносы пишут, жены мужей грызут и пилят, мужья жен с детьми бросают на произвол судьбы, те приемам наратэ обучаются, чтоб от мужиков отбиться или нападать на них — не поймешь. Так что угорь, которого я отродясь не видел, тоже мог взять меня за ногу да и...».

И с моралью в рассказе все в порядке: когда у Рениты «совершенно нечаянно получился ребенок», Гарий женился на ней,